

Гоголь и весна

Весна в Москве. У Арбата уже не звенят над сугробами бубенцы (а это — помнится — так по-хозяйски, так правопреемственно воспевал несостоявшийся комиссар в пыльном шлеме Булат Шалвович). Не звенят и трамваи; а было дело когда-то, в пятидесятые годы. Шум и трескотня — те налицо; о, не только в Кремле хорохорится, как назвал ее Гоголь, **пошлость пошлого человека**. В мощном храме неподалеку — уж не знаю какой веры, но это вполне по Евангелию — что ни день, то скопища торгашей и разбойников: отмывают, видать, души от нечистот. **Дом мой дом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом...** Я видел там и Бобчинского с Добчинским: молились или по меньшей мере крестились; ещё раньше за это взялись Лужков и Ноздрёв. В подземном же переходе под площадью — там каждый вечер перед сборищем зевак гуляет глупейшая оргия какого-то «тяжелого металла» или «рока», причем с «оттенками философии». Признаки Лысой горы и ее беснований тут повсеместны. Как и в России в целом?

Не знаю: но догадываюсь, что таков сейчас, наверное, и Невский проспект. Пасмурная, слякотная погода, называемая оттепелью — заметил однажды о чем-то похожем Шолохов. Далеко за ним, с поддержкою загодя, стоит Пушкин: **вонь, грязь, весной я болен**. Даже и Блок говорил так, в столь любимой нами (вами) «Незнакомке»: **и правит окриками пьяными весенний и ТЛЕТВОРНЫЙ дух**. А поверх такого Арбата, поверх его незаконных или самозванных детей и деятелей подземелья — в четыре глаза смотрит несколько окаменевший Гоголь, певец морозной ночи перед Рождеством, певец русской чистоты и русского могучего казачества.

Всмотримся в Гоголя, вслушаемся в него. Как один из не лживых, не полицейски-власовского пошиба обустроителей России, он не уповал именно на металл-железо. Но силы, крепости и товарищества он от нас ожидал. Времена года чередуются, но, увы, возвращаются, делая это всегда по какому-то раз заведённому кругу. Однако хваткий русский человек, если по Гоголю, при любой погоде и не в гоголевский даже год может создать бесовщине и болезнетворной бацилле условия невыносимые. Следы Гоголя оставлены им где-то сзади нас? Но каким-то совершенно неевклидовым образом они показывают, как быть в дальнейшем, чего мы ещё даже не видели.

Всех концов с концами ни в какой статье, конечно, не свяжешь. Однако, если углубляться в мир Гоголя, то мы можем вскоре узнать о себе и то, что раньше нам было совсем неизвестно.

И.Н. Афанасьев (Беларусь)

ГОГОЛЬ И ПРОБЛЕМА САКРАЛИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Николай Васильевич Гоголь, который превращается в «повод» вспомнить о нем самом и поразмышлять о судьбах словесности в широком ее толковании, кажется удивительным, несообразным и уж во всяком случае несоразмерным той роли, что уготовили ему юбилейные торжества. Между тем, именно праздничная суэта и неотделимая от нее поспешность нашего приближения к гению, в котором нынче, в юбилейную страду, мы, будто спохватившись, готовы увидеть и объяснить причину всего и вся, раскрывает нам истинную первопричинность самого Гоголя. Для русского сознания «Пушкин — наше всё» давно стало аксиомой. Двести лет, через которые, быть может, явится русский человек в его развитии, — давно отмерены. И, конечно, не только нами. Однако именно нам, в эти дни, судьба определила быть свидетелями теперь уже доподлинно гоголевских, **собственно** гоголевских двухсот лет, в которые иными стали и человек, и мир, и слово о них. Русскому, и белорусу, и украинцу более чем пристало ныне приложить классические формулы национальной метафизики, подобной русскому осознанию Пушкина, к себе, чтобы в них на уровне собственной национальной достоверности открыть литературу как повод и причину исторического бытия. В русскую судьбу и ее афористичное истолкование оно уже внесло новый и неустрашимый смысл, выраженный современным русским художником Николаем

Предеиным в лаконичном уравнении: **Россия=Гоголь₂Пушкин** [см.: 1, с. 4]. Почему «Гоголь₂»? Потому что Гоголя в России – больше. Потому что Гоголь становится водоразделом важнейших, решающих исканий не только русского духа в предгрозовые и грозные времена, оказываясь то «демоном, боязливо хватающимся за крест» в апокалиптическом ужасе Василия Розанова, который все-таки готов будет признать правоту «беса Гоголя»; то – безо всяких обиняков – самим «духом русской революции» у Н.Бердяева, наследующего Розанову в истолковании Гоголя и понимании революционных бед как «метафизической» – гоголевской – пошлости России. И если кому-то угодно будет увидеть в предложенном исчислении судьбы не более чем игривый намек на формулу воды (да и найдутся ли те, кому всё еще не ведомо H₂O?), – извольте: из нее, воды, человек состоит на 90 % процентов. Процент же этой животворящей субстанции в наших докладах и вовсе подсчету дается с трудом. А потому разговор о Гоголе, как ни ловчи, – это разговор о нас. О себе. И о своем.

«Самость» Гоголя, вряд ли довлеющая себе, – чрезвычайно глубока, поучительна и трагична. И при этом – необыкновенно «вероподъёмна», как убеждает И. Золотусский и в своих литературоведческих трудах, и в недавнем телевизионном опыте «Оправдание Гоголя», в котором тактично свел гения и Россию: не осмеянную, не высмеянную им, но оскорбившуюся именно в том, что на деле означало разрыв пушкинского круга, из которого – навстречу читателю, вровень с ним – шагнул писатель, поэт, одухотворенный апостольским служением человеку настолько, насколько и спасаемый сам в этом устремлении, ищущий в нем крепости веры. Притяжение-отталкивание с Пушкиным, подстегнутое провинциальным задором Гоголя, и наследование-одоление Гоголя Достоевским, который, как замечает И. Золотусский, на «Шинель» отвечает «Бедными людьми», на «Мертвые души» – «Записками из Мертвого дома», на «Записки сумасшедшего» – «Записками из подполья», на «Выбранные места из переписки с друзьями» – «Дневником писателя», на «Вия» – «Братьями Карамазовыми» и «Бесами», на «Вечер накануне Ивана Купальи» – «Преступлением и наказанием» [2, с. 35], обрекают Гоголя на одиночество. «Подполье» (сумасшествие) из темноты выходит на свет, а новый гений русской литературы свидетельствует свой путь Анализом, а не Синтезом, отысканием целого, разобрав его по атомам, в то время как Гоголь «берет прямо целое и оттого не так глубок, как я» (из письма Достоевского брату Михаилу) [см.: 3, с. 35]. И, даже снимая порожденное Белинским противопоставление пушкинского и гоголевского направлений в литературе, все равно оставляет Гоголя в одиночестве, материально, осязаемо, «вещественно» укрупняющем творца.

Его инаковость, проистекая от малороссийских корней, тем не менее, сводит на нет любые диспуты о составе крови, ибо просто знаменует явление как Целое, отделимое этнографически в поэзии «Вечеров» и угадывающее будущее новых младолитератур, которые будут утверждать свою самодостаточность первоначально на фундаменте этнографизма, и впрямь не подлежащего аналитическому разъединению и потому изначально сакрализованного. Что это, если не периферийное напряжение в культуре, то самое – по Лотману – смещение центра, из которого проистекает новое качество и возникает сопутствующая ему сфера непереводаемого. Не она ли изобличает всю тщету обратного (национального) перевода Гоголя – вчера русского, нынче – малоросса, и вообще любых претензий на него, которым было несть числа и которые не довольствовались одним лишь лингвистическим экспериментом. Не извольте ли вслед за идеологом ЛОКАФ (Литературного Объединения Красной Армии и Флота) Вс. Вишневским произвести «военный анализ Гоголя», ибо «органическое, постоянное наличие у Гоголя – в ткани его художественных произведений – военного элемента прямо поражающее» [цит. по: 3, с. 237]? Или метафорически сблизить Гоголя и... Сталина, как это проделывает уже наш современник Стивен Моллер-Салли в работе «“Классическое наследие” в эпоху соцреализма, или Похождения Гоголя в стране большевиков»? Западным наблюдателем замечено портретное сходство Гоголя в работе скульптора Томского и Сталина, которых-де «метафорически сближает» центральное место в русской судьбе «самозванца с юга»: Гоголя, занявшего это место в русской культуре, и грузина Сталина, благословившего русскую патриотическую кампанию накануне Великой войны [см.: 4, с. 518]...

Что и говорить, фантазмагория вполне «гоголевская», да вот что удивительно: отсмеявшись над пошлостью, впечатление от которой представлялось неколебимостойчивым тому же Розанову, что нарек Гоголя «гениальным живописцем внешних форм», мы сейчас все более склонны (не к самому ли Гоголю прислушавшись?) увидеть в запечатленной им гримасе жизни человеческий лик, то самое одухотворение, в котором и жалкий лепет какого-нибудь Акакия Акакиевича – «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – становится криком новорожденной христианской души, каким различил его не один И. Золотусский? Архетипическая возможность устремлена к горнему, но – о, чудо! – осуществившись в действительности, окружает нас физиономиями, до боли знакомыми по классическим, гротескным иллюстрациям к бессмертной поэме. Какие чудные лица в гоголевских героях разглядел современный художник Юрий Хмелецкий (журнал «Родина», 2009, № 3): губернатор; дамы, приятные в разных отношениях; Чичиков собственной персоной и почти чаадаевской внешности; располагающие Маниловы, Поздревы, Собакевичи, бабушка Коробочка... Однако, перенесенные в нашу реальную жизнь, как непогрешимо схожи они оказываются с привычным для нас первоисточником, разом теряя всё благолепие и всю чаадаевскую импозантность наружности!

Воистину, Гоголь принуждает нас почувствовать себя в той ситуации двоемия, причины которого гоголеведу и, скажем, Юрию Борову откроются по-разному. Но главное в том, что именно Гоголь, с которого, по мнению служителей его гения, и начинается христианизация русской литературы, сам же подсказывает путь спасения, избавления от миражей. Если глашатаи так называемого «постхристианства» на закате XX века упрекали христианство в том, что оно разучилось толковать знамения, то Гоголь сам есть это знамение и его толкование, создающее систему ценностей, без которой в нашем сознании невозможен высший порядок. Помнится, академик Б. Раушенбах точнее многих других определил эту неразрешимую дилемму как наш собственный выбор [см.: 5, с. 42 – 43]: полководец, который накануне решающей битвы за судьбы Отечества узнаёт о болезни близких и оставляет войско, чтобы быть с ними, есть настоящий герой в традиции китайской этики, но падший кумир – для нас. Воитель, не оставивший армию, замкнувший личную печаль в себе во спасение Отечества, – наш герой, безупречный оплот достоинства, впрочем, прокливаемый китайцем как негодяй... Эти миры несовместимы. И спасение человечества только в том, чтобы системность этических отношений не была поставлена под сомнение в принципе, без глупых иллюзий переделать друг друга, принять веру иных. Иначе говоря, спасение – в способности сделать выбор, определить себя в нем, подчинить высшему порядку, который генетически заложен в той или иной религиозно-этической традиции. И урок Гоголя есть урок такого выбора и самоопределения, которые сакрализуют пространство литературы и укрепляют наше решение кровью: «Я тебя породил, я тебя и убью...»

Значение словесности в историческом выборе народа и государства, определении и утверждении истинных национально-патриотических приоритетов невозможно переоценить. Этим испокон веков жива была восточно-славянская духовная традиция. Смогла бы иначе состояться великая русская литература и смогла бы утвердить свою жизнеспасительную миссию словесность белорусская, которой сама белорусская нация обязана своим существованием на чудовищных перепутьях исторических катастроф и забвения?

Специалисты-филологи прекрасно знают о существовании концепций истории русской литературы XX века, в основу которых положен принцип События. Применительно к XX столетию эти события угадываются без труда: Октябрьская революция 1917 года, Великая Отечественная война, а теперь еще Чернобыль и гибель Советского Союза.

При всем неизбежном левачестве, без которого не обходится никакая революция (иначе она перестанет быть собой), писатели традиционного канонического толка продолжали оставаться необходимой частью духовной (не говоря уже о собственно литературной) реальности. Пускай даже в качестве тех, кого следовало сбросить с корабля современности, выслать на чужбину на пароходе философов, объявить всего лишь попутчиками пролетариата в известной дискуссии середины 1920-х годов. С одной стороны, Осип Брик провозглашал «Разгром Фадеева» (именно так, в буквальном, прямом смысле слова, без всяких кавычек) – с другой, не кто иной, как большевик Фадеев возвращал

молодую коммунистическую литературу к традициям толстовского романа с его психологизмом, диалектикой души, бурно приветствуемый нетерпеливыми ревнителями революционной новизны. Слом эпох удивительным образом щадил преемственность духовного развития, только обозначая его взаимоисключающие полюса. Увы, в нашей с Вами современности мы становимся свидетелями того, как лучшая, классическая часть нашей литературной реальности просто перестает быть ее принадлежностью. Где в широком массовом литературном сознании Валентин Распутин? Где славные писатели фронтового поколения? Похоже, что сама «парадигма» современной духовной жизни в них не нуждается: ни в каком качестве. И даже в качестве полюса противостоящего. Их просто нет. И вот это уже действительно сотрясение основ. Всякий ли современный литератор, обозревая сделанное в творчестве, может подчинить его одному-единственному постуку, который несет в себе память о сакральном Слове-событии, как это было под силу Алесю Адамовичу, сообщавшему критику И. Дедкову о своем письме М. Горбачеву с просьбой о помощи Беларуси после Чернобыльской катастрофы: «...все мои книги не идут ни в какое сопоставление с одним этим отчаянным письмом...» [6, с. 95]?

Литература, разлученная с историей; писательство, освободившееся от события, заменившее сакральное действие имитацией его игровой доступности, влекут человека к духовной катастрофе. В итоге самой истории надлежит исчезнуть из оценочного ряда. А ведь литература наша при всем драматизме и трагизме судеб героев, конфликтовавших друг с другом иной раз смертельнее, чем с внешним неприятелем, все-таки ощущения «своего»-«чужого» не теряла. Но современное писательство этим выбором озабочиться не спешит. Между тем, он сам по себе может состояться как выбор высокой словесности, где всё на высшем накале: и наши претензии по поводу исторического беспамятства, и небесспорные попытки литературы его преодолеть.

ЛИТЕРАТУРА

1 Агишева, Гузель. А я так медленно живу... / Гузель Агишева // Известия. – 2009. – 17 марта. – С.4.

2 Сумасшедший выходит из подполья? 200 лет Гоголя на фоне Достоевского: Игорь Золотусский в беседе с обозревателем «Родины» Львом Аннинским // Родина. – 2009. – № 3. – С. 34 – 38.

3 Добренко, Евгений. Оборонная литература и соцреализм: ЛОКАФ / Евгений Добренко // Соцреалистический канон / -сб. статей / под общей ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. – СПб.: Академический проект, 2000. – С. 225 – 241.

4 Моллер-Салли, Стивен. «Классическое наследие» в эпоху соцреализма, или Похождения Гоголя в стране большевиков / Стивен Моллер-Салли // Соцреалистический канон / сб. статей / под общей ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. – СПб.: Академический проект, 2000. – С. 509 – 522.

5 Раушенбах, Б. В. Пристрастие / Б. В. Раушенбах. – М.: Аграф, 1997. – 432 с.

6 Адамович, Алесь. ...Имя сей звезде Чернобыль / Алесь Адамович. – Минск: Ковчег, 2006. – 544 с.

Л.И. Гетман (Украина)

РЫЦАРИ ВЕРЫ ИЛИ ФИЛИСТЕРСКИЕ МЕЩАНЕ?

Художественный текст, с точки зрения психологии искусства, - это некая «система раздражителей, сознательно и преднамеренно организованных с таким расчетом, чтобы вызвать эстетическую реакцию» [1, с. 32-33] у читателей. Подобные читательские реакции могут быть как близкими авторским, так и вступать с ними в конфликт вследствие того, что произведение искусства «заключает в себе непременно аффективное противоречие, вызывает взаимно противоположные ряды чувств...» [1, с. 274]. Именно это «противочувствие», заложенное автором в тексте, и порождает полиэмоциональность, присущую художественным текстам.

Под полиэмоциональностью мы понимаем такую смену эмоциональной доминанты беллетристического повествования, описания и рассуждения, которая закономерно приводит к возникновению у читателя/читателей противоречивых эстетических реакций. Заметим, что